



## ЕГО МАРИЯ

Евгений Одинцов

Вероятно, очень многие, прочитав превосходную статью Сергея Залыгина «Две Марии» (о сестре Чехова и жене Волошина) – удивились, что если уж брать такой волнующий человечество образ-имя, то следовало бы здесь сказать и о Марии Александровне – вдове Андрея Платонова – всемирно прославленного советского писателя, продолжившего (и это после Толстого, Чехова, Достоевского, Гоголя!) не только литературную культуру слова, но и заветную любимую мысль этих духовных руководителей русского общества: что людям нечего больше делать на свете, как только жаться друг к другу, жалеть и прощать. Сумев внести после них СВОЁ ОСОБОЕ в русскую прозу, Платонов перекинул лёгкую живую дорогу от русской к советской литературе – и весь мир опять в смятении от световоздушного слова нашего огромного, смелого и смиренного народа, давшего всем столько радостей в литературе!

Мария Александровна была бы совершенно счастлива, что в этой единственной (и посмертной, – М. А. Платонова скончалась в Москве 9 января 1983 года) заметке о ней – больше говорят об её Андрее. Но пусть все знают, что была она красавица из красавиц; что не удерживала Платонова в его подвиге; что не попрекнула его трагической судьбой их замечательного и единственного сына; что горе и страдания не иссушили их жизни и любви; что Платонов обожал её и гордился своей «Марией»; что, как и авторы «Смерти Ивана Ильича» и «Братьев Карамазовых» – своим любимым, он свои «Епифанские шлюзы» (тоже самое непревзойдённое в мировой литературе!) – посвятил юной любимой Марии Александровне; что, несмотря на преследовавшие её душевные невзгоды, она в своей беспредельной преданности находила силы вновь и вновь подыматься, прокладывая слову Платонова дорогу к самым простым людям, которых он очень любил...

Современный читатель благодаря именно ей открывает для себя первого из писателей с дыханием классиков – в наше время «потока сознания», экспрессионизма, отсутствия мировоззрения. А в русской литературе – Платонов, придя со своей тайной, открыл и ходы, которые ещё никто не знал. Язык его можно посоветовать любому классику. Оперирова спецификой, он и оценивал новые возможности родного языка, не отказываясь от своей главной радости и страсти: сказать (опять всему миру!) правду о своём, теперь уже советском, народе – отправившимся в путь, который Платонов назвал «безвозвратным». И рабочий человек, где бы он ни был – даже по нескольким словам платоновским сразу поймёт: какого защитника его и певца какой силы – неподкупного, смелого, горячего – подготовила вся предшествующая наша литература, проверившая свою совесть и ставшая на сторону трудящихся людей! – «Захар Павлович от душевного смущенья действительно терял своё усердное мастерство. Из-за одной денежной платы оказалось трудным ударить даже по шляпке гвоздя. А машинист-наставник знал это лучше всех – он верил, что когда исчезнет в рабочем влекущее чувство к машине, когда труд из безотчётной, бесплатной естественности станет одной денежной нуждой, – тогда наступит конец света, даже хуже конца: после смерти последнего мастера оживут последние сволочи, чтобы пожирать растения Солнца и портить изделия мастеров».

Платонов обогатил русскую литературу тем, что свойственно только очень большим дарованиям!

В жизни – как и в творчестве: есть художники, всю жизнь занимающиеся искусством, но они – не талантливы. Живут долго и упорно, но не имеют огня-связи с миром вечности. (И уход в абстракцию – от недостатка ответственности «инженеров человеческих душ»). Платонов же – на сыром материале действительности нащупывал вечные законы, противоборствующие хаосу разрушения. Протянув нити от пережитого, от революции войдя к сознанию нового – он протянул нити к новой образности. Насколько иначе он строил, чем его современники, персонажи которых «задуманы», а у него в двух-трёх страницах – всё сказано, веришь всему! «На старости лет Захар Павлович обозлился. Ему теперь стало дорого, чтобы револьвер был в надлежащей руке, – он думал о том кронциркуле, которым можно было бы проверить большевиков. Лишь в последний год он оценил то, что потерял в своей жизни. Он утратил всё – разверстое небо над ним ничуть не изменилось от его долголетней деятельности, он ничего не завоевал для оправдания своего ослабевшего тела, в котором напрасно билась какая-то главная сияющая сила. Он сам довёл себя до вечной разлуки с жизнью, не завладев в ней наиболее необходимым. И вот теперь он с грустью смотрит на плетни, деревья и на всех чужих людей, которым он за пятьдесят лет не принёс никакой радости и защиты и с которыми ему предстоит расстаться. *«Саш, – сказал он, – ты сирота, тебе жизнь досталась задаром. Не жалея её, живи главной жизнью».*

Прочитав такое, известный священник Дудко пришёл к Марии Александровне и сказал ей, что Платонов был верующим человеком. *«Как??!»*, – удивилась милая Мария Александровна. А много позже говорила мне раздумчиво: *«Может быть и правда, что он был верующим... В 44 году он написал мне с фронта: «Мария, сходи в церковь и отслужи панихиду по нашему сыну».*

*«Живи главной жизнью»...* Вещи Платонова похожи на сказание. И вот это соединение живой современной действительности, стихии всего того беспокойного времени, когда он жил и участвовал в нём – с ритмом сказания, – это какая-то современная притча: и по значимости развёртывающегося драматизма, и по таящейся всегда надежде на лучшее начало внутреннего склада человека – посреди зла и трагедии истории. Это сочувствие всему что страдает – оживление природы – нет ничего бездумно совершающегося: *«... лавка сгорела вместе с домом. Спиридон Матвееч выдержал нужду, продал половину земли – спешно отстроился и купил колодезь. Говорят, на пожаре у него задохнулась дочка от первой жены и он сам преждевременно бросил тушить двор, не видя смысла в имуществе без дочери».*

Всё придумал Платонов: и про сгоревшую лавку, и про пожар, и про задохнувшуюся дочку, и про первую жену, и про преждевременность, и про имущество без дочери..., – а всё это будет сиять людям вечной правдой неумолимой!

Или ещё и ещё выше: *«Царь и богатые люди не знают, что сплошного народа на свете нету, а живут кучками сыновья, матери, жены – и одни дороже другому. И так цепко кровями все ухвачены, что расцепить – хуже чем убить. А сверху глядеть – один ровный народ, и никто никому не дорог! Сукины они дети, да разве же допустимо любовь у человека отнимать? Чем потом оплачивать будут?».*

Что «сплошного народа на свете нету» – это есть великое слово, впервые произнесённое только Платоновым.

Сочувствие, понимание страдательного начала жизни – одна из побудительных причин искусства. Искусство – красота, уже начало истины, следовательно – добра. Волевое начало творческой мысли и чувства. И потому – неверно, что вещи Платонова мрачны. Тот, кто так его воспринимает, не услышал главного голоса мудрой надежды на становление победы духа над бессмыслицей и злом. Отсюда особая торжественность в его простой речи! И отсюда – всё волнующее в характеристике и судьбе этого человека (и содержащее значимость и простоту высшего лада чувства, углубляющихся у него в большое чувство истории и трагедии). И это то, что возвращает нашу современную прозу к этическому, философскому, поэтическому складу может быть даже античного мира. – *«Небо сияло голубым дном, как чаша, выпитая жадными устами. И шли те трогательные и потрясающие события, на которых существует мир,*

*никогда не повторяясь и всегда поражая. Ежедневно человек из глубины и низов земли заново открывал белый свет над головой и питался кровью удивительных надежд»...*

Как могло случиться в духовном мире сил, действующих в историческом потоке становления форм и явлений искусства, что это новое видение проникло в литературу и явило нам такого художника, назвавшего всё то, что сопутствовало издревле и воспитывало поэтическое чувство человека?! То, что Платонов мог с такой страстью искать своё родство со всем этим; то, что он находит слова для этого исконного инстинкта человека перед лицом природы; то, как он углублялся и всё больше и больше расширял рамки ощущений... – Всё это войдёт как новое чувство в классику. Пожалуй, в такой широте это новое чувство мира ещё не входило в нашу литературу (в поэзии оно было только у Клюева, и могло быть у Хлебникова). После всех явился Платонов – как человек уже другого строя души: ближе бесконечно Толстому и Достоевскому, но в больших трудностях становления мира и трагедий, развёртывающихся на глазах, – в более трудную для творчества эпоху. Но, как и они – он рано понял, что обретает силу назвать увиденное, познать в больших связях и соотношениях малого с великим. Его находкам воображения нет конца – как в детском творчестве. И основное ощущение реализма (не побоимся этого затасканного слова) остаётся у него главным, и широко льётся последовательное повествование: *«Ворота депо были открыты в вечернее пространство лета – в мутное будущее, в жизнь, которая может повториться на ветру, в стихийных скоростях на рельсах, в самозабвении ночи, риска и нежного гула точной машины»*. Чистота его ритмов и именно льющаяся форма, сила и обаяние его определений казалось бы самых неуловимых соотношений наблюдаемых явлений, и найденная форма размышлениям и логике убеждённого сознания – делают Платонова недостижимым в строгости, аскетизме и целостности этих решений! Ведь это непостижимо: *«Было рано, хорошо и прозрачно. В такой час можно чувствовать, как кровь трётся в жилах, и особенно остро переживаются те заглушенные воспоминания, где сам был виноват и губил людей. Тогда стыд поджигает кожу, несмотря на то, что человек сидит один; и нет его судьи»*. Или – *«Захар Павлович не мог себе представить такого человека, с каким нельзя бы душевно побеседовать. Но там наверху – царь и его служащие – едва ли дураки. Значит, война – это не серьёзное, а нарочное дело. И здесь Захар Павлович становился в тупик: можно ли по душам говорить с тем, кто нарочно убивает людей, или у него прежде надо отнять вредное оружие, богатство и достоинство?»*.

Классовый аристократизм у Платонова всегда оправдан человеческим умом, душой, интеллектом. Это интеллигенция в её внутреннем выработанном мире.

Всё в сравнении с Платоновым кажется «сиропом» или уходом от нравственной задачи писателя – в природу, в описательство, в перечисление и т.д., когда у него во всём – свободное дыхание рассказчика, и лёгкость перевода событий и сюжета – в песню, в сказание. Безразличия или фальши обобщения – нет. Это у него – не выдуманно, а всё пережито и подлинно и интересно нам как новое: *«Отец близко прислонился к оконному стеклу и глядел оттуда на сына. Он уже увидел, узнал своего сына, но всё ещё смотрел и смотрел на него, желая наглядеться»*. Если другие всюду – о себе, или о своих ощущениях и чувствах, и очень много о природе («их» природе), то Платонов – он берёт большим сказом, не утомляя зрения чувства эстетикой; с любовью ко всему; с затаённым, прячущимся своим «я» – ведёт рассказы беспощадные по правде, как будто списывая с природы, но натура в его руках ведома любовью, вниманием, верой. И жизнь любого простого человека – делается твоим переживанием: *«Спал отец помногу – с вечерней зари до утренней, – иначе, если не спать, он начинал думать разные мысли, воображать забытое, и сердце его мучилось в тоске по утраченным сыновьям, в печали по своей скучно прошедшей жизни»*. Это и делается твоим переживанием, а разница сглаживается каким-то великим нравственным началом сочувствия, понимания единства страданий и судеб. И наряду с этим – огромный оптимизм овладения миром. Любовь к труду. Что-то от рабочего бесстрашия к работе. Радость от простой техники. В этом смысле он очень близок своему французскому современнику де'Экзюпери. И жили они в одно время, и одна стихия душевная их родила. Эти два человека – пронзили современность своим духовно-

душевым (прежде всего) видением мира, своим непрофессиональным гуманизмом. А из мэтров литературы даже Хемингуэй – например, своими превосходными и волнующими описаниями боя быков – не вносит (в противоположность другим своим вещам) ничего нового в соотношения человеческого нравственного начала и стихии грубых инстинктов. Платонов же, чуть ли ни единственный, в своей «Корове» – сумел гневаться и требовать от людей перестать мучить даже животных (конечно и Толстой, – оба они предложили людям бороться с потенциальной стихией дикарства, дремлющей, по-видимому, в каждом из нас). И над всем у Платонова – чистота строя души и душевная логика, идущая от оживления. Будучи откровением – у него она и истина ума-добра. И читающий – сразу же в этом круге! Никаких опосредований литературных, разговорная речь сразу находит выход: *«Больше ничто не тронуло Захара Павловича и в следующие годы. Только по вечерам, когда он глядел на читающего Сашу, в нем поднималась жалость к нему. Захар Павлович хотел бы сказать Саше: не томись за книгами – если б там было что серьёзное, давно бы люди обнялись друг с другом. На самом же деле Захар Павлович ничего не говорил, хотя в нём постоянно шевелилось что-то простое, как радость, но ум мешал ей высказаться. Он тосковал о какой-то отвлечённой, успокоительной жизни на берегах гладких озёр, где бы дружба отменила все слова и всю премудрость смысла жизни».*

Всем введома и всех ждёт эта тоска, но первый и единственный озвучил её – Платонов!

В стилевой культуре, перерастающей у него в план накопленных ценностей – Платонов сумел рассказать о человеке, ничего не выдумывая и не одевая одежду, – *«... В один день, во время солнечного сияния, Пухов гулял в окрестностях города и думал – сколько порочной дурости в людях, сколько невнимательности к такому единственному занятию, как жизнь...».* Это очень сложный вопрос – о стилях, но если это чувство не живёт в художнике, то и произведения его не несут энергии бессмертия (если можно так выразиться). И силу, и настоящую цену Платонову – даёт его чувство правды прожитой жизни. Поиски им простого и целостного сознания – это будет вечно пленять идущих за ним.

Уходя из жизни, он оставил нам свою бессмертную душу, нашедшую такое полное выражение в земном и пережитом.

... Таким был её Андрей.

Но загадка Платонова – сугубо русского писателя – ещё не разгадана. Мария Александровна до наших дней доносила весть об этом «сокровенном» человеке – нетребовательном сыне русского народа.

Она горячо любила Платонова, она его обожала. *«Тебе хорошо сейчас, лежишь тут, а я здесь мучаюсь, – вдруг начинала ругать его, сидя на могиле, – все писатели женам дачи оставили, а ты только болтовней занимался, всё бы только болтать ему! Почему ты ни разу не написал о нашем сыне, он был талантливее тебя в тысячу раз!».* А уходим – она прощается: *«Ну, до свидания, мои дорогие, я скоро опять приду».* И мне – простодушно-мечтательно: *«Ах, как бы было хорошо вернуться сейчас всем домой вместе, я бы пирогов напекла!»...*

На одном из вечеров памяти его 80-летия, в чеховском доме-музее – показала мне на огромного толстого неряшливо одетого старика с разбухшим портфелем: *«Вот он меня, это Зенон Балабанович, в 20-ом году, в Воронеже, познакомил с Платоновым, привёл его ко мне в общежитие, я училась на литфаке университета, я тогда фыркнула ещё: «Фи, какой! А потом...».*

*«Андрей до шестнадцати лет и книг-то не читал, а теперь я составляю каталог – так только до 1920 года он опубликовал в местной и центральной прессе около двухсот заметок и статей».*

Гений возраста не знает. Уж если Пушкин чуть ли ни в семь лет мог написать, что *«... не говори: так вянет младость...»*, – откуда он мог знать в этом возрасте, что «младость вянет»?!

А мы – не знаем вообще ничего. Мы не знаем связей Платонова с Клюевым, Бальмонтом, возможно с Буниным, а они могли быть, не могли не быть: открывается же ведь

только теперь, что Клюев был связан с Толстым, ходил к нему мальчишкой, и тот его принимал...

Самое величественное на свете, самое грандиозное, самое-самое интересное, непостижимое и дорогое – это связь. (Религия так и переводится этим словом).

А сходи теперь попробуй, например, к Нагибину! Я сунулся было к нему с этой заметкой, ещё при жизни Марии Александровны – он и не пошевелился: *«Ну что вы хотите? Я прочитал вашу статью. Мария Александровна – красивая была женщина. Красивая женщина»*. И это всё, что он мог сказать.

*«Одно время мы жили на углу Художественного проезда и Пушкинской, где теперь колбасный магазин, на пятом этаже, я иду, бывало, с сумкой, а Багрицкий, сосед, любезник был, возьмёт у меня и несёт, а сам задыхается, у него жаба грудная была, а Андрей стоит наверху, облокотившись на перила, и смотрит, ждёт, говорит: «Сумку ей несешь, ну-ну...»*.

*«Ревновал ко всем. Я в издательстве работала редактором, он придёт к директору, а на меня и не глядит, сядет, говорит ему: «Чего ты её тут держишь, увольняй, одни мужики только и хотят на неё смотреть. Увольняй её»*.

В юности училась пению у самой Цветковой. *«Платонов не давал, он говорил что все актрисы – бляди, Цветкова гнала его: «Андрей, уходи, не мешай!», а он придёт, сядет и сидит, цепляется, он Цветковой нравился, она одобряла мой выбор, любовалась нами»*. (Знала бы великая певица – какая мучительная судьба будет у ученицы и у её мужа, и кто они такие, кем муж Марии станет!..).

У другого гения русского солнечного (то есть у Бальмонта) – есть непереносимо-пронзительные строки, обращённые к первой, самой любимой, жене, «Катерине», что: *«... ты, любовь ревнуя, ревность скрыла»*. Иной любви у Платонова никогда не было, а вот «ревность скрыть» приходилось и Марии Александровне, и не забыть мне вовек того, что я узнал от неё: *«Когда он умирал – то всё держал мою руку и всё рассказывал, рассказывал... Я ночи не спала, меня всю клонило, я умоляю: «Андрей, я посплю», а он всё просит: «Мария, не уходи» – всё хотелось ему ещё и ещё рассказать...»*. И трогательно-щемяще удивлялась, наивно как-то, беззащитно и непридуманно: *«Неужели всё это было неправда? Ведь он же МОЮ руку держал, ведь он же МНЕ рассказывал!..»*.

Посмеивалась: *«Да, «любил»!.. Бросал всегда, уезжал куда-то надолго. Правда, с каждой станции открытки присылал: увидит какую-нибудь старуху, или мальчишку, чего-нибудь интересное – и напишет. У меня этих открыток целые мешки были, я их сдала в ЦГАЛИ недавно»*.

*«Раз по 20 в день звонил: «Позовите Марию». Мама скажет ему: «Андрей, ты мне надоел!»*.

*«Распустили сейчас слухи, что Маргарита – это я, а Мастер – это Платонов. Да, Булгаков называл Платонова мастером, бывал у нас на «средах», всегда сидел вот на этом диване, в уголке, слушал Платонова молча, зыркал глазами, говорил нервно: «Андрей, ты мастер, ты мастер!», но причем тут – что «я – Маргарита»? Кто-то придумал»*.

*«Шолохова Платонов любил, он часто у нас бывал, когда приезжал в Москву. Весёлый был, выплясывал гопака у нас на кухне, вприсядку. Когда Андрея хоронили, в могилу опускали, и меня туда клонило – за руки меня держал: «Мария, всё что хочешь проси – всё сделаю». Потом ни разу не зашёл, не помог. И у Андрея – один брат известный учёный, другой тоже не бедствует, сестра – врач, состоятельные люди, а ни разу за все эти годы копейки не прислали, Машеньку к себе не пригласили, уж как мы бедствовали!.. Это они сейчас все разлетаются и Андреем интересуются: им сказали, что он мировой писатель. Сестра Андрея – совсем чуждый человек, Андрей умирал – говорил мне: «Верку к гробу не подпускай»*.

Ольга Александровна, младшая сестра Марии Александровны – легко рассказывает, любовно: *«Я уже замужем была, у нас дети были, а муж мой Пётр Артемьевич, инженер-конструктор, всё заработанное им отдавал, сам в шароварах байковых годами на службу*

ходил, а у них ничего не было, они очень бедствовали, Андрей ему свои книжки дарил, с надписями хорошими, говорил: «Петруша, ну чем ещё я могу тебя отблагодарить...».

Я ещё застал Петра Артемьевича, – красивый, невероятный был человек, совершенно обожал Платонова. Был уже очень пожилым, а лицо – юношеское. Прожил со своей любимой Ольгой Александровной счастливую жизнь. Умирал мучительно. Помню, на поминках по Марии Александровне на чьи-то слова, что в этих книгах *жизнь Платонова* – проходя мимо, остановился и поправил мягко, с непередаваемой сдержанностью: «Его страдания». ...

Я счастлив, что знал Марию Александровну. Жизнь её была целиком отдана трагической судьбе Платонова.

«Платонов был на фронте, а как жили Вы в эти годы?» – «Я приду на Тошину могилу, лягу ничком и целый день лежу».

«Кожевников, писатель, такой старик (другой, не тот который был Вадимом. – Е. О.), говорит мне недавно: «Ну что ты, Мария, раздуваешь Платонова?! – Неразвившийся писатель».– А дочка его симпатичная потом шепчет мне: «Мария Александровна, это он завидует».

«После смерти Андрея пришёл: «Мария, выходи за меня, я оставлю семью». Потом генерал какой-то сватался ещё, адмирал. Я всем отказывала».– «Почему?».– «Нет, Андрей обнимет как-то так, после него ВСЁ не то...».

Прелестная была женщина. Уже в старости сломала ногу, в ступне, ступня напрочь отлетела, болталась на какой-то ерунде, ей её кое-как приделали, дома ходила с палочкой, посмеиваясь. Мы с её приятельницей, остроумной старухой, навещали её ещё в больнице, и та на все её охи однажды добродушно заметила: «Мария Александровна, расплачивайтесь за свою красоту!».– «Какую красоту?».– тут же спросил я.– «У Марии Александровны всю жизнь была изысканная тонкая щиколотка, как рюмочка».– «Да, «красота», ну её, нога болит...», – комично прохныкала на это Мария Александровна.

Была она из графского рода Шереметьевых. («А тётки мои были уже обедневшие дворяночки, учительницы скромные», – спокойно улыбалась она).

«Голос у меня был от мамы, мама с нами жила, помогала, вела хозяйство, всегда напевала, Пришвин приходил и сразу говорил: «Слышу колокольчик Марии Емельяновны».

«Незадолго до смерти Андрея Пришвин забежал и зовёт на свой юбилей, на ужин. А Андрей уже не встал. Тогда Пришвин говорит мне: «Мария, пошли хоть ты». Мне так лестно стало, я так мало внимания к себе в жизни видела! Говорю ему, что: ну куда же я от него такого пойду...».

«Вообще, Андрей над Пришвиным посмеивался, говорил ему: «Что, Михаил Михайлович, птичками хотите отделаться!?!»...

«Гроссман, Василий, помню его, ходил к Андрею», – и улыбочиво, со сложной ухмылочкой: «Был такой, скакун...».

Боков очень любит вспомнить, как в 46 году Платонов, Мария Александровна и он поехали в какую-то подмосковную деревню, на майский праздник, там на опушке леса было большое гулянье. «Мария Александровна в красивом лёгком платье, цветущая, Андрей, всё хорошо, вдруг она мне говорит: «Виктор, Виктор, где Андрей, куда он делся?!. Она стала искать среди гуляющих, а я бросился к лесу, опушка кончилась, поле, смотрю – Андрей с трактористом сидят на меже, трактор стоит, меж ними уже и бутылочка, огурчики, тракторист что-то ему рассказывает, Платонов самозабвенно слушает, обо всем забыв...».

Платонов родился в год смерти последнего, любимого, сына Толстого – Ванечки, которому старик мечтал передать свою дорогу. Выходит, что её принял и по ней пошёл только Платонов.

«В 30-е годы ездил с группой писателей в Среднюю Азию, рассказывал мне потом, что Тихонов с Луговским целыми днями пировали с тамошним правительством, обжирались, а он – уходил в степи, в аулы, в селения...».

... У меня много его книг, от Марии Александровны, и на почти всех неизменное – «от М. А. и М. Платоновых. Любите его и помните». Никогда о себе, всё боялась что его начнут забывать. А он – всё вырастает и вырастает...

Но при этом трепете за память о Платонове – была абсолютно трезвым человеком: твёрдо знала, что её имя на веки-вечные будет стоять рядом с Платоновым, хотя бы на её прижизненных изданиях – «Составитель – М. А. Платонова». Это единственное, что вело её по жизни.

Я много помню из сказанного ею, мне всё дорого.

*«Платонов никогда ничьих писем не хранил: прочитывал, рвал и спускал в унитаз, у меня теперь никаких нет, он боялся, время-то какое было!..».*

Усмехалась: *«Теперь Сац этот представляется «другом Платонова», всегда везде выступает как «друг Платонова» – а приходил к нему каждый день, подходил с улицы, ставил на подоконник бутылку: «Андрей, пей», и Андрей пил. Когда я потом умоляла: «Да гони ты его!», Андрей говорил мне: «Мария, я очень одинок»...»*

*«После войны Павленко привёз из Германии много тряпок, я купила у него два хороших дорогих костюма для Андрея, темно-синий и коричневый, Андрей в них ходил всегда, они все истерлись, других больше не было, в коричневом я его и похоронила потом».*

*«За месяц до смерти за ним пришли трое молодых из МГБ, забирать. Я показала им на него, истаявшего – «забирайте». Махнули рукой, ушли».*

*«К Андрею уже нельзя было приближаться, я сделала в его комнату высокий порожек, готовлю на кухне и поглядываю, а Сашка, внук, подползёт, перелезть не может, смотрит на Андрея: «Пума, пума», а Андрей смотрит с тоской».*

*«Сашка жил у нас, они с Машенькой почти ровесники, Андрей очень тосковал, что ему нельзя их приласкать»...*

За несколько дней до смерти я пришёл к ней, почему-то со случайными людьми, один был художник, порисовал Марию Александровну. Мария Андреевна оберегая её, гнала нас сердито: *«Уходите!»*, а Мария Александровна упрямо улыбалась: *«Ничего, пусть»*. Люди её никогда не утомляли. Была она невероятно добрым человеком. Я добрее её никого не встречал в своей жизни. (Именно по доброте своей отпустила мне однажды обо мне же и моём знакомом такое замечание, которое я печатно никогда ни за что не решусь повторить).

Только с нежностью всегда помню и вспоминаю Марию Александровну.

Была она уютная, неизменная, чудесная, с прелестным юмором. *«Решилась позвонить Стукалину: почему, говорю, заключили вы со мной договор на трёхтомник Платонова, а издали только два? – «У нас, Мария Александровна, нет станков для печатания пьес, надо везти в Ленинград».– «Пьесы, говорю, Леонова у вас есть станки печатать, а Платонова – нет?».– «Да, но вам хорошо говорить, расселись своей толстой задницей».– «А у меня (рассказывает иронично-тоненьким голосом) как раз, говорю, и не толстая задница, – и положила трубку».* Рассказывает и смеется.

Прийти к ней просто так было невозможно: *«Ой, я ещё пирогов не напекла!».– «Да не нужны мне пироги, я Вас хочу видеть».– «Нет, приходите завтра, я пирогов напеку».*

Несколько лет назад, в «Юности», меня просто потрясла невероятной силы изумительная статья некоей Елены Воронцовой «Суженый-ряженный». Я навсегда восхищаюсь Воронцовой.

Куда там мне! И ни за что никогда не забуду, как у неё деревенские старухи вспоминают войну и как к кому потом мужа возвращались, и где одна бабка весёлая рассказывает, что её вернулся ночью, стучится, а я, говорит, его сразу узнала, закричала, выскочила в сенцы: *«Васька, ты?!»...*

Куда там древним персам, куда там трубадурам, куда там Шекспиру, Гёте, Пушкину, Бальмонту и Есенину! Это выше всего на свете, это равно Платонову, это равно Толстому! Здесь всё величие русских! Платонов и есть лучший после Толстого русский писатель, то есть сказавший правду о русском народе. (Это высшая честь – быть лучшим после Толстого! Её ещё

никто в мире не смог удостоиться, кроме Платонова. Это выше всяких там Нобелевских премий всех, вместе взятых!).

... Без Марии Александровны не было бы Платонова.

С удовольствием вспоминала: *«Вернётся домой пьяный, я уйду на кухню, отворачиваюсь, а он сядет на диван и зовёт: «Мария, иди ко мне». Я не иду, обидно мне, что он пьяный опять. А он снимет ботинок с ноги: «Сейчас вот разобью это блюдо, если ты ко мне не придёшь» (над диваном у нас висело большое антикварное блюдо папино, моё любимое). «Бей», говорю».*

Вся любовная лирика мира – провинциальна и третьесортна – после такого этого (то есть после *«Васька, ты?!»*), после *«Вот разобью блюдо, если ты ко мне не придёшь»...*

И ещё: у Марии Александровны были только две предшественницы и одна современница. Имена эти общеизвестны: их звали Софья Андреевна, Анна Григорьевна и Мария Петровна – которые так же не удерживали своих великих мужей в их великой борьбе, а помогали им, утешали и были их единственными друзьями.

**ГЕНИИ УМЕЮТ ВЫБИРАТЬ СЕБЕ ВДОВ.**

И нет ничего выше во всей прозе XX века, а ведь это Платонов всё про себя да про свою Марию: *«Фомин отвёл от неё свой взор, но чувство его уже прельстилось образом этой женщины, и то чувство не стало затем считаться ни с его разумом, ни со спокойствием его духа, а пошло вразрез им, уводя человека к его счастью».*

До сих пор трудно поверить этому чуду, что он жил и вообще писал так в такое трудное время. Но если в сердцах всё нарастающих читателей Платонова теперь будет жить не один человек, а два – то это тоже чудо!